Автор: Ольга Соловьева

«ПОДСЕЛЕНИЕ»  
  
Пьеса-монолог-фантазия в трёх частях  
  
 Часть первая – Гипноз

Часть вторая – Горящая занавеска

Часть третья – Петля

Гипноз.

На той лекции по научному атеизму я механически рисовала на полях тетради веточку сирени, а сама размышляла о том, что страдания вовсе не облагораживают человека, и кто только мог такую ерунду выдумать? Любопытно, и каким же образом мучения сделают людей лучше, в конкретном случае, лично меня? Проверять на себе и страдать совершенно не хочется. Я не слушала монотонный, с периодическими внезапно появляющимися в нём властными нотками, голос преподавателя Волгина. Он долговязый, некрасивый, очень тощий мужчина лет тридцати с глазками-точками цвета графита и ртом без губ, как у куклы конферансье из театра Образцова. Неважно, кто наш преподаватель – убежденный «научный» атеист, или выполняющий свою работу обычный сотрудник вуза, у меня он вызывал непонятную неприязнь. Забавляла меня только его способность скручивать ноги. Закинув одну ногу на колено, он умудрялся ещё два раза закрутить её петлей вокруг другой ноги, стоящей на полу. Так он сидел, похожий на сухой, темный корень, перед студентами, и не за столом, а у арочного окна очень уютной аудитории. Любопытно, а из такого скрюченного положения ему сразу распутать ноги и быстро встать насколько затруднительно? А может вовсе не трудно, может у него и тела как, такого нет, а только пустой костюм, и к нему непостижимым образом приставлена маленькая вытянуто-приплюснутая голова. Волгин что-то говорил. Я всё больше погружаясь в размышления, наткнулась на воспоминание, ставшее почти моим собственным, настолько ярко оно запечатлелось. Родненькая бабулечка рассказывала, что будучи одиннадцатилетней девочкой она выполняла небольшие хозяйственные поручения у живущей по соседству большой семьи православного батюшки. И вот в Великий пост на страстную неделю она случайно увидела, как поп с попадьей и их многочисленные поповчата смачно жуют запеченных цыплят, поглощают яйца, сметану и что-то там ещё, чем ломился их дубовый стол. В моей голове возник запах куриного мяса, мне срочно захотелось покушать. Кто в студенчестве жил в общежитии, тот знает, что завтрак, а часто и обед – редкая роскошь. Моя бабушка с того давнего дня, на всю жизнь стала убежденной атеисткой, высмеивала церковных служащих всех подряд, не принимала никаких возражений, что есть и другие – правильные священники. В одном из писем домой, зная бабушкин живой интерес ко всему, что касается обучения, я специально указала – в институтской программе есть предмет – научный атеизм. Этот факт был ею одобрительно принят. О! Она была бы очень прилежной и Волгин, такой старательной студентке был бы рад-доволен. Точно. Тем более бабулечка была на редкость красивая. В юности похожая на актрису немого кино Веру Малиновскую. Мысленно я улыбнулась. В помещении висела тихая сонливость, мои однокурсники сидели молча, слишком расслабленно и спокойно, как будто спали с открытыми глазами. Ранним утром пролился мощный дождь, но он кончился, сияло солнце, мокрые стекла большого округлого окна, переливаясь, казались живыми, походили на вертикальную водную гладь. Необычайно спокойную и манящую. Мысленно я уже плыла, плыла. Уплывала – переплывала из одного озера в другое, переплывала в Оку у Тарусы, а потом из Оки в пруд в имении Толстых.

Замаячил перед внутренним зрением противоречивый Яснополянский Лев. На днях я прочла две его статьи «В чем моя вера? и «И о борьбе со злом посредством непротивления». Поразилась, что он сравнивал себя с разбойником – прям так и писал – «я как разбойник, знал, что жил и живу скверно, видел, что большинство людей вокруг меня живет так же... знал, что я несчастлив и страдаю, и что вокруг меня люди также несчастливы и страдают, и не видал никакого выхода кроме смерти из этого положения. Во всем этом я был совершенно подобен разбойнику, но различие мое от разбойника было в том, что он умирал уже, я ещё жил. Разбойник мог поверить тому, что спасение будет там, за гробом, а я не мог поверить этому…». Потом неясным каким-то образом писатель избавился от отчаяния, испытал радость и счастье жизни, не нарушимое смертью. Жизнь и смерть перестали ему казаться злом. Толстой стал утверждать, что человек родился не для тягот и мучений, что религия подавляет личность, требует рабской покорности и за эти, кажется, мысли, отлучён был от церкви. Что говорить, радоваться жизни надо уметь! Классик умел. Интересно, в школе, которую он открыл для крестьянских ребятишек и сам в ней их грамоте обучал, сколько было его внебрачных носатых дочек-сыночков? Я уже не смогла сдержать улыбку. Волгин её заметил, и сразу задал мне вопрос, который я не расслышала, но скорее всего ведь по теме занятия, так? Или нет? я понятия не имела. Надо было бы промолчать, но вместо этого, отчетливо и громко, нарушив вязкую дремоту в аудитории, выпалила то о чём только что думала: Известный всему миру великий русский классик, по совместительству семейный тиран – Лев Николаевич Толстой – не мой любимый писатель, но он считал, что человек создан для радости и советовал: «Ищите радость!» Это его мнение полностью разделяю. Я снова улыбнулась. Лучезарно. Я это умела. Я ведь – Лучик. Странно, что графитовые глаза Волгина приблизились ко мне очень близко, как так? Он же сидел на стуле, не вставал. Его глаза сначала выглядели, как точки от карандаша на белой бумаге, но постепенно превращались в две бездонные черные воронки. Брррр, брррр…

Почувствовав, что ни минуты не могу оставаться под этим затягивающим, воронкообразным взглядом Волгина, я спросила – «Можно мне выйти»? «Выход там, где вход» – прочревовещал препод, с претензией на оригинальность банальную фразу, означавшую разрешение удалиться. Я поспешила к выходу и мигом оказалась вне аудитории. Облегченно взмахнула руками и заметила, что почему-то нахожусь значительно дальше от только что поспешно закрытой мною двери. Я почти бесшумно пробежала по коридору, коридор был не прямым, а как это бывает в старинных зданиях, с поворотами и ответвлениями к многочисленным другим помещениям, спустилась по извилистой чугунной лестнице, проскользнула мимо малого зрительного зала, мимо библиотеки, мимо сиреневого букета на вахте дежурного учебного корпуса и… ву а ля! Вот уже я среди цветущих кустов в саду, окружающем особняк. Повезло, что институт разместили в таком дивном месте! Жасмин и сирень, мокрая от утреннего ливня пригнувшись к дорожкам, ещё сильнее благоухала, а дорожки уже подсохли и множество солнечных зайчиков были задействованы в своей хаотичной игре, они складывались в мозаику, отпрыгивали, снова сливались в яркие, светлые пятна. Солнце-зайцы были слишком яркие, слишком большие. От неожиданно огромных их размеров в моих глазах помутнело. Непроизвольно я зажмурилась, но перед этим зачем-то повернулась и взглянула на окно второго этажа, на то окно, за которым продолжалось занятие, откуда я сама себя вызволила. И не то было жутко, что Волгин не просто выглядывал, он парил в верхней части окна, а то, что его длиннющие костлявые пальцы держали толстую-претолстую веревку. Я поспешно отвернулась. Померещилось. Неприятно. Наверное, от неутоленного голода. Вспышка света ослепила меня. Я провалилась в темноту.

Научный гипноз от атеиста Волгина – мгновенно осознала я, когда очнувшись, очутилась у закрытой двери, внутри аудитории. Так… я никуда не успела выйти. Выхода из входа не случилось. А слова эти Выход там, где вход, – это какой-то код. Волгин на мне пробует гипнотическую технику. И я выясняется, что? Поддаюсь гипнозу? В голове персеверация: «Вихрь любовников» – гравюра Блейка, гравюра, Блейк, «вихрь любовников». Борясь с желанием достать из портфеля свой любимый сборник стихотворений, подойти и подарить его Волгину, я точно знала – сама я этого делать категорически не хочу. Да и с какой это стати дарить чужому, несимпатичному мне человеку – любимое и дорогое? Дорогое, между прочим, во всех смыслах. Я половину своей стипендии отдала букинисту за редкую книгу. Вот так, можно одновременно желать совершить действие и совершенно не желать его совершать. В голове каруселью вертелись настойчивые слова: Иди и подари Волгину сборник стихов, сменялись на вкрадчивые фразы из незнакомого мне, рассказа? Фильма? «Скорей, скорей, Мусенька! Там тебя ждет сюрпри-и-из»… какой это сюрприз… Черт сидел – голый, в серой коже, как дог, вытянув руки вдоль колен, как рязанская баба на фотографии или фараон в Лувре, в той же позе неизбывного терпения и равнодушия. Черт сидел так смирно, точно его снимали. Шерсти не было, было обратное шерсти: полная гладкость. Действия не было. Он сидел, а я стояла. И я его любила».

Волгин тоже сидел, я стояла. И я его любила. Было страшно. Благоговейно страшно. Редкие волосы на шишковидной голове атеиста, отсутствие даже намека на то, что он пользуется бритвой, острый подбородок вызывали стойкое отвращение. Никакой к нему любви я не чувствовала, но думала – люблю. Святые угодники! Или как бы воскликнула моя бабулечка – СлЯпые негодники! Эти «слЯпые негодники» было у неё самым любимым и часто употребляемым ругательством. Своим возникновением оно обязано истории с моим наречением. Ещё до моего рождения родители и бабушка, без всяких УЗИ, помогающих узнать пол ребенка и ещё другую информацию, были непоколебимо уверены, родится девочка. В один из вечеров за ужином, примерно за месяц до маминых родов, каждый из них написал свой вариант имени для меня. То ли шляпы под рукой не оказалось, то ли перевернутая шляпа со свернутыми тремя бумажками, ожидающая события показалась им несуразным предметом, но они воспользовались обожаемой вещицей бабули. Антикварный фарфоровый кофейник, постоянно присутствующий на столе. Кофейник не использовался по назначению, служил салфетницей, потому, как крышка от него невесть когда потерялась, носик отбился, но место травмы аккуратно зашлифовали. О том, чтобы выбросить и речи не возникало, ведь ни трещин, ни сколов. Невесомо легкий, с широким горлом, красивого сливочного цвета с ручной росписью. Карминного цвета ягоды рябины казались трехмерными, живыми, а снегири с огненными грудками словно готовы каждую секунду спорхнуть с него и улететь куда-то. Из него вынули льняные салфетки и положили записочки с именами. Бабуля отвечает на любые мои вопросы, всегда на все-все отвечала обстоятельно, подробно, эмоционально, с явным удовольствием. Только на вопрос «А как мама познакомилась с папой?» ответила отрывисто, кратко: «Искала она службу, Лучик, а нашла суженого». Лучик – это от мамы. Пока она ещё была жива, я была её Лучиком. И хотя не могу, считается – не должна этого помнить, ясно помню, как я уткнулась в мамину грудь и слышу её певучий, ласковый голос – «Лучик мой…». Будучи младенцем, я навсегда запомнила её голос, звучание безусловной любви. Мамин подарок. Бабулечка называла меня Лучиком исключительно в самых-самых волнительных случаях. Спустя несколько лет, я уже знала, родители встретились, когда мама проходила прослушивание в оркестр музыкального театра, где папа дирижировал. Это была судьба. Они были созданы друг для друга. Папе нравилось, что мамины руки даже чисто вымытые, всегда чуть-чуть пахли канифолью, а мама восторженно наблюдала, как папа и в оркестре и дома размахивал пластичными руками.

Мама, после родов резко ослабла, чувствовала себя неважно, играть в оркестре не могла, почти не ходила, папа обязан был с театром уехать на гастроли. Бабуля взвалила на себя заботы обо мне и маме и стойко, мужественно держалась. Вскоре мамы не стало. Отец почернел от горя. Через полгода, чтобы я наконец обрела имя и факт моего существования был подтвержден официальным документом, бабушка держа меня, крепко запеленованную в одеяло, отправилась в ЗАГС. В семидесятых ещё не оформляли свидетельства о рождении непосредственно в роддомах. Меня до сих пор обескураживает, что любое удостоверение личности обществу или государству важнее самого человека. Что, без бумажки с печатью – ты никто? Не существуешь? Чиновницы Загса не сразу согласились оформлять на меня свидетельство, настаивали на приходе в их инстанцию, непосредственно родителей. Мою бабулю, которая в течении всей свой жизни была как кремень, единственный раз очевидно, в тот момент прорвало, она разрыдавшись, сквозь слезы и всхлипы, сбивчивое дыхание пыталась рассказать про непонятную хворь забравшую маму, про папины гастроли, про кроху внучку уже полгода живущую в этом мире без матери и без имени. Протянула сотруднице выписку из роддома и кофейник… Сотрудница смилостивилась, вошла, как говорят в положение, вытащила одну свернутую бумажку и даже не успела её развернуть, как бабулечка, прижимая к груди меня и кофейник, прытко удалилась. Ушла домой, поручила случаю, в лице веснушчатой миловидной женщины в гос-конторе сделать маленький выбор – решить, какое, одно из трех имен – моё. Бабуля сама вытащить из кофейника маленькую трубочку с именем так не смогла. Зато смогла растить меня в одиночку. Папа немного помогал деньгами, насколько позволяла зарплата, но во всем остальном не участвовал, я без каких-либо объяснений понимала, он любит меня, только видеть не может, слишком сильная мучила его боль. Страдание из-за утраты любимой жены вовсе не облагораживало его. Руки его стали с каждым днем все больше и больше походить на усохшие плети, дирижировал оркестром он через силу. В каждый мой день рождения он приходил с новой пластинкой, не дарил ничего кроме пластинок с классической музыкой. Гладил меня по голове, но никогда не обнимал. Мы втроем пили чай, с нажаренным бабушкой, вкуснейшим, хрустящим хворостом, обильно посыпанным сахарной пудрой, а уходя, он обращаясь ко мне, каждый раз шептал: «Tu me comprends, ma fille?». Я, как мне кажется, понимала. Ведь я не обижалась на папу, что его почти никогда нет рядом, как не обижалась и на маму, что её рядом никогда нет. Никогда. Оба они ни разу не назвали меня по имени. Мама не успела, папа не захотел. Да, я точно папу понимала, и на очередной день своего явления, пятилетняя, считавшая себя уже большой и взрослой, коротко остриженная, в темно-темно синем платье я держу папу за руку и говорю – «Папа, а бабулечка сказала, что ты и мама, когда ещё вы не были мамой и папой, нашли друг друга в оркестре. Маму нигде не могу найти и в оркестре не могу, а ты можешь, найди себе жену». Папа отдернул руку, заплакал, долго – долго не приходил, пропустил два или три моих дня рождения. А потом он женился на глазастой гримерше из театра. И у них родился карапуз Бориска. В театре возникли терки, руководство не разрешало папе репетировать с оркестром и хором какую-то особую современную симфонию его друга, композитора из Ленинграда. Папе стало совсем не до меня, мы и не виделись совсем, и я мечтала, чтобы папа обнял меня, хоть раз, хоть раз. Чтобы понял, чтобы принял! Вернемся к «слЯпым негодникам». В кофейнике на одну бумажечку или что-то нечаянно капнуло, и она стала не читабельной или сотрудница просто не разобрала почерк, записала, как прочла и поняла, так и записала. Спустя неделю на руках у бабули оказалось свидетельство о рождении тут-то бабуля обрела свое незаменимое – «слЯпые негодники»! А я обрела имя – Кармина. Бабулечка убрала кофейник в угол самой высокой полки в буфете. Я подросла, мне было любопытно, что там. Бабушка запретила смотреть, я послушалась. Посуда у нас дома всегда блестела и мы любили её перемывать, но кофейник бабуля протирала только снаружи, мне в руки не давала. Может от того, что полка буфета была закрыта, но в кофейнике не оказалось пыли, когда я (О! У меня есть сила воли!) перед самым поступлением в институт, достала я из буфета хрупкую красоту и вытащила до сих пор лежавшие в нем две бумажные трубочки. На одной, её явно написал крупными буквами, с нажимом, мой отец, значилось – Ирина. На другой, изящный почерк мамы – Марина. А как раз бабулечка-то 18 лет назад положила записку с именем Карина. Вмешалось непредвиденное, но стало быть было зваться мне – Карминой. А как изволите называть уменьшительно-ласкательно, маленькую девочку с таким именем? Кармушечка? Карминочка? Кармусечка? Бабуля быстро сократила Кармусечку до Мусечки. Кармусеньку до Мусеньки. Муся, Мусечка, Мусенька мне нравилось. Зелено-луговое, веселое, чуток телячье, чуток кошачье имечко! И в школе меня Мусей звали, и соседи и бабушкины знакомые. Только вот уж для своих однокурсников, в другом, большом, не родном городе, станет секретом, что я Муся. Детство кончилось. Пришла пора зваться и быть Карминой. Пора и саму себя узнать, Кармина. Узнать, понять себя. Принять.

Первым делом отправлюсь библиотеку. В нашей студенческой или в центральной обязательно найду сведения о Блейке, о его гравюре. И чего бы это не стоило, хочу непременно вспомнить, что же тогда произошло в тот момент, когда я оказалась в полной вневременной темноте? Что со мною в ней случилось? В книге, которую я не подарила Волгину, справилась всё-таки с его гипнозом, больше всего мне запомнилась одно четверостишье: «Радость всех невинных глаз, – Всем на диво! – В этот мир я родилась – Быть счастливой!». И одна дневниковая запись «Вы знаете, что французское слово – comprendre, означает одновременно и понять, и обнять, и принять».

Горящая занавеска.

Мои родители, художники, познакомились в начале двадцатых, когда учились в художественно-промышленном техникуме. Основательно друг друга узнали, капитально обдумали своё решение быть вместе, на всю оставшуюся жизнь, и в двадцать седьмом году поженились. Отец был среди талантливых живописцев, которые группировались вокруг поэта Михаила Кузмина, работал в детском издательстве. Мать иллюстрировала учебники и буквари для народов севера, работала в Учпедгизе. Только спустя одиннадцать лет на свет появился долгожданный ребенок. Это я. Матери и отцу на момент моего рождения было уже по 32 года. Видимо, из-за того, что я, появившись на свет, не издала никаких воплей-криков, сколько бы меня не трясли и не хлопали акушерки, испуг матери за меня был невероятно навязчиво-огромным и не никак отпускал её, я и сейчас вижу, до сих пор не отпускает. Усугублялся он тем, что я, в отличии от большинства младенцев, ни ночью, ни днём, вообще, не плакала, не лепетала, не гримасничила, Никакой мимики. Безмятежное помалкивание. Поэтому, когда я, внезапно, за два месяца до своего трёхлетия, тихим, шелестящим голосом, залепетала-залопотала, то обычно внешне отрешенные mai mère et mon père облегченно-радостно засмеялись, передавая меня из рук в руки, переспрашивали, «Анечка, это ты сказала?... Повтори, пожалуйста, повтори…». Я момент запомнила, запомнила даже, свою мыслишку – ма и па волнуются, а вдруг моя болтовня окажется единичным случаем? Через десятилетие мы вместе рисовали мой календарь памятных событий, мать вносила в него описание события и даты. Есть в календаре листок, где я нарисована с открытым ртом. – 24 мая 1941 год. «Марианна, наконец-то, заговорила! И рифмами!».

Я повзрослела, а мой голос так и остался шелестящим. Отец почти всегда уточняет: «Анна, что-что? Что ты мурлычишь?». Ему нравится назвать меня Анной, а не полным именем Марианна. Он никогда не замечает, что на Анну никто не отзывается. Никогда. Родители меня безумно любят, я это знаю и чувствую, хотя иногда, порой кажется, что они так долго жили без меня, так долго меня ждали, что переждали, что ли? Устали, охладели от длительности ожидания. Ещё я подозреваю, что дело во мне. Каждый раз, когда я сначала мучаюсь от ненужной преграды между нами, от недопонимания (они об этих моих терзаниях и понятия не имеют), я держу их глубоко внутри, запертыми. Затем, успокаиваясь, прихожу каждый раз к одному и тому же выводу: дело всё в прохладном темпераменте матери – наполовину голландки, наполовину немки, и в характере и прошлом отца, приехавшего в Ленинград из Барнаула. Отец рано осиротел, его семья, когда-то зажиточная, (они торговали мануфактурой), спасаясь от коллективизации, часто меняла место жительства, то Горный Алтай, то Бийск, а в Забайкальске его родители умерли от тифа. И он остался с родным младшим братом. Натерпелись страху и горя! Le frère de mon père oncle Michael – удивительный человек, тоже фронтовик, после войны несколько лет учительствовал в Электростали, где преподавал в старших классах русский язык и литературу, решил поступать на Восточное отделение Высшей дипломатической школы. И поступил, и за три года смог освоить основы китайского языка. А теперь знает его в совершенстве. Сейчас мой дядя - посол в Пекине.

Мои родители чрезвычайно сдержанные и строгие. Им ли не быть не сдержанными! Кроме, опасного и полного лишений детства моего отца ещё и арестовывали в конце тридцать четвертого, в декабре, 27, перед Новым годом, сразу после убийства Кирова, (был такой революционный вождь), по «делу группы пластического реализма», в которую входили художники, друзья отца: Владимир Васильевич и Вера Михайловна. Их обвинили в антисоветской деятельности, а отца в использовании «несоветской» техники живописи. Он три месяца находился под следствием в Большом доме. С тех пор, насколько я знаю по отрывочным данным, он ни разу не оставлял жену на новогодние дни, а нет, ещё в Отечественную. Пришлось ей быть без него. Отец вызвался добровольцем на фронт, служил в разведке, был и шифровальщиком, про войну ничего никогда не рассказывал, хотя от Нарвы дошёл до Берлина. Обрушившиеся на близких ему людей репрессии, эта долгая, страшная война оставили глубокие, мерзлые, болевые отметины в душе моего отца. Я знаю о его громадной работоспособности, он признанный мастер экспозиции, но я с горечью подмечаю нереализованность его замыслов, несмотря на страстную увлеченность рисованием. И не мудрено, что родители почти всю жизнь работают в книжной графике. Это их стихия! Они с мамой дружно увлекли меня акварельным рисованием и графикой, сами меня обучали, мы вместе мастерили домашние книжки с рисунками, у меня получалось, я старалась, мне было легко молча, берешь карандаш, молча рисуешь, не надо ничего говорить, или если на то пошло, можно «говорить» рисунками. Без конца рисую в своих блокнотах, но, почти всегда не дорисовав, бросаю, перехожу к следующей зарисовке, итак раз за разом. Некая незавершенность присутствует в творчестве моего отца. На то есть причины. Множество его листов-рисунков названы эскизами: значит, отец надеется их доработать. А вот я? Почему я не довожу дело до конца? Какие причины скрываются за этим неприятным мне самой недостатком? Не по наследству же мне передалось? Я не доделываю, не завершаю, никому никогда не показываю свои блокнотные наброски, как бы меня не просили. Думаю, что не потреплю даже самой малой критики рисунков. Молча сижу в тех компаниях, где бываю, не участвую в словесных пикировках, слыву этакой скромницей и молчуньей. Ни разу никому не удалось вызвать меня на сколько-нибудь серьезный разговор, услышать моё мнение о вопросах мироздания. Бывает, за весь вечер скажу только «здравствуйте» и «до свидания». Бывает, что и скажу или процитирую, но очень тихо и внимания не обращу, если мою реплику вовсе не расслышали. Сижу, рисую и слушаю, как читают стихи, не ввязываюсь в споры. Поступаю, как считает Рада, веселая девушка из нашего приятельского круга, согласно её постулату: «красивые женщины молчат, некрасивые разговаривают». Рада, а может и другие люди иногда замечает в моих глазах шальное выражение, шальной огонёк. Увы, его появление я не всегда контролирую. Внезапное воспоминание о том, чего никогда не было в моей жизни, дерзкая, но не совсем ясная мне самой идея, озорная догадка озаряют мое лицо. В этом есть что-то демоническое. В следующую секунду лицо меняется, возвращаясь к привычному спокойствию. Вчера, уходя, нечаянно, я не подслушивала, но услышала за своей спиной: «заметили, как у нее глаз сверкает? Говорю вам – она ведьма…». Однако, Рада ошибается, как и другие, я молчу – не потому, что «красавица», не потому, что хочу привлечь к себе внимание, а чтобы не мешать это делать другим. При этом, когда ещё не выдаю эмоций, то гораздо больше узнаю окружающих людей. Моя маска безмятежности на лице это не природное отсутствие мимики, а отточенный инструмент постижения мира, продуманная «изюминка» воздействия на него.

Физически я крепко-накрепко привязана к родителям, их страх за меня, или в принципе, страх, что неудивительно, для времени в котором они жили почти всю свою жизнь, передался мне. Я боюсь, неимоверно боюсь за своих родителей, за их жизни, за карьеры, за здоровье. Я даже как-то призналась Раде, что «есть разница между теми, кому в год смерти Сталина исполнилось тринадцать и теми, кому пятнадцать. Большая разница». Не стоит отрицать - существует гнёт страха. Кто моложе, тот и бесстрашнее, гнет слабее. У меня есть страх за старших Басмановых – есть, да ещё какой! Когда им исполнилось по пятьдесят, я дала себя клятву – никогда ни при каких обстоятельствах их не оставлять, не выходить замуж, быть рядом ses ancêtres, со своими предками. Я никогда и не о чём не смела их расспрашивать, так было заведено, я слушала, когда они сами желали поведать, что им хотелось, а сама я после одного неприятного, необъяснимого случая, не решалась доверить свои разные сокровенные мысли. О! Я даже изобрела свой шифр, чтобы вести дневник записей о своих метаниях-переживаниях-сомнениях, увлечениях, поступках, чтобы родители его не прочитали. Не считаю, что они были способны нарушить моё личное пространство, прочесть личный дневник, или адресованное мне письмо, скорее, меня привлекает некая многозначительность, неразгаданность, может даже странность. С подросткового возраста, я настолько часто напускала на себя загадочность, что привыкла к роли таинственной незнакомки. Сначала наслаждалась этой ролью, а потом буквально срослась с нею. Темная зеленоглазая шатенка с высоким лбом, с безукоризненным овалом лица, нежной кожей, с голубыми прожилками на виске, на которую заглядываются все без исключения посетители Эрмитажа – это я. Всем посетителям виделась я сошедшей с одной из картин эпохи Возрождения. По своему желанию я могу, когда захочу перемещаться из Эрмитажа в Музей изящных искусств, при Московском университете, где мне все знакомо, ещё со дня его открытия: «Белое видение лестницы, владычествующей над всем и всеми. У правого крыла, как страж, в нечеловеческий и даже не божественный: в героический рост – микеланджеловский Давид…». Мгновение, и я снова в Эрмитаже, где за мною всегда ходит «свита». Я рассматриваю картины, «свита» разглядывает меня. Кто-то из «свиты» сравнивает меня с изображением богини красоты и плотской любви, на картине 1509 года, художника Лукаса Кранаха – «Венера и Амур». Ни один мускул не дрогнет на моем лице. «Свита» не знает, что мне доставляет терпкое удовольствие её восхищение моей внешностью. Бесстрастность, неподвижность моего лица притягивает взгляды. Значит, им так хорошо покоиться на моем лице, снова и снова описывать глазами его безупречный овал, любоваться им, как произведением искусства. В Эрмитаже, среди шедевров живописи, у меня, ничего не предпринимая, получается, легко соперничать с портретами красивейших женщин и в харизме и индивидуальности им не уступать. Дома, наоборот, я должна постоянно доказывать поступкам свою значимость, свои способности, свою нормальность. Это раздражает меня. Раздражает то, что мне совершеннолетней, на всё требуется родительское разрешение. Мать несколько лет не разрешала мне подстричь волосы до плеч, как мне с детства хотелось шлем-каре. У матери, сколько себя помню, волосы всегда собраны в гладкий пучок много ниже затылка, почти у шеи. Рядом с домом на нашей же улице есть приличная парикмахерская, где у самих мастериц, что немаловажно, модные стрижки - «паж», или «сессун», они друг на друге оттачивают навыки, значит, я положилась на их профессионализм. Не самой же мне было косы отрезать? Сделала бы криво, ни родителям, ни самой не понравилось. Работой парикмахера я тогда осталась довольна. Родители на стрижку не отреагировали, заметили, но промолчали. Тем более в издательстве у матери был очередной аврал, а в такие моменты они с отцом всегда кидаются помогать друг другу и им было не до меня. Девушка-парикмахер слегка надоедала тем, что за работой повторяла, «какая же ты красавица!». Обращение «ты» нарушало мой туманный «неземной» образ, слегка покоробило, а «красавица» – это привычно, не радует, не огорчает, не реагирую. Постоянно слышу (даже, за свое спиной с придыханием, не предназначенное для моего слуха восклицание.) Кажется, кроме, как красавица меня больше никак не называют, Подкрашивать даже чуть-чуть слегка глаза, чтобы подчеркнуть их зеленый, почти изумрудный цвет, мать категорически не разрешает. Что ж, так тому и быть. «Быть, а не казаться» - теми же, что и в дневнике кодовыми знаками начертила я и повесила листок с девизом в своей комнате. С ранних лет, а может даже и с рождения, возникшая привычка – «казаться», мешает мне – быть. Еще бы знать наверняка, что действительно значит – Быть? Зашифрую в дневнике, искрой промелькнувшую в голове строчку: «Будь! – это заповедь моя. Дай – мимо пройти, дыханье не нарушив роста. Я – есть. Ты – будешь. Через десять вёсен. Ты скажешь – есть, а я скажу – когда-то…». Странное четверостишье? В мире невероятно много странностей. Загадок. Художник Фердинанд Ходлер в 1917 году написал «Гертруду Мюллер в саду». Девушка на портрете – У меня её лицо. У неё – моё. Люблю загадки и обожаю странности. Окружение замечает во мне что-то невероятно-притягательное - загадку, которую им никак не удаётся разгадать. Мне это очень нравится, я старательно поддерживаю вокруг себя флёр таинственности.

А загадок невероятно много. Одна из них – почему вместо Марианны, я стала зваться Мариной? Так это она решила и настояла: «Ты – не Мария и не Анна, не Марианна, ты это – я, а я – Марина». Сопротивляться было бесполезно.

Однажды, перед зимними каникулами, родителей срочно вызвали в школу. Дело было в том, что на одном из уроков, я долго пристально и неподвижно смотрела в высокое окно за которым не было ничего кроме снегопада. Только кромешный снегопад. От него невозможно было отвести взгляд. Учительница, как мне потом одноклассники рассказали, несколько раз одергивала меня, «Марианна, не отвлекайся, Марианна, ты разве не слышишь, что я тебе говорю?». В какую-то секунду я увидела на объемности белого, заполняющего всё пространство снега, две плоские темные точки. Они расширялись, разрывали меня на две части, и обе всасывали каждую часть меня внутрь себя. Сильно я испугала свой класс и громогласную училку, так как на несколько минут потеряла сознание, хотя глаза мои были открыты, а когда очнулась, то не обращая внимания на ещё более громки крики – вопли учительницы: «Марианна! Марианна!» – бессвязно, неузнаваемым взрослым голосом с нажимом и с неприсущими мне интонациями и громкостью, как заведенная, повторяла: «Я его никогда не видела, я никогда его не увижу, я его никогда не видела, я никогда его не увижу». На Марианну уже совсем не отзывалась, совсем не понимала, что обращаются ко мне, упрямо твердила «мне имя Марина». С того дня, я – это Марина.

А когда-то… давно, 31 августа 1941 года, за неделю до начала блокады города, у нас дома в присутствии обоих родителей и, ma grand-mère Sophia, со мной произошло непонятное и необъяснимое происшествие. На глазах всех родных моё лицо посинело, вокруг тоненькой шеи безо всяких на то причин появился багровый рубец, и я стала задыхаться, глаза закатились. В ужасе остолбенела мать, отец кинулся за врачом, (тот жил этажом выше). А Софья Людвиговна кинулась делать мне искусственное дыхание. Она умела, ведь она была замужем за профессором Петроградского института усовершенствования врачей. Когда отец вернулся с соседом-доктором, преклонного возраста, я уже самостоятельно дышала, пульс был нормальный. Следы на шее полностью исчезли. Об этом странном случае, один раз поведала мне мать, когда я училась в начальной школе, после моего обморока. Только один раз. Больше тот необъяснимый случай не упоминался, не обсуждался ни разу.

Бывать в консерватории доставляет мне несравненное наслаждение. Музыка помогает мне не дробиться, не разрываться, быть цельной. В уютном Малом зале постоянно устраиваются концерты педагогов и аспирантов. Однажды около выхода на парадную лестницу, где всегда людно, со мной попытался познакомиться светловолосый, статный студент. Его попытка ему удалась. Он был уверен в себе этот красивый молодой человек, учится сразу на двух факультетах, на фортепианном и композиторском. Одаренный, начитанный, деликатный. Мы стали встречаться. Наши отношения не изнурительные, воздушные. Борис, чуть ли не каждый день преподносил мне розы, а в двадцать третий день рождения подарил изящную шкатулку. На её крышечке рябиновая гроздь из огненно-красного сердолика и резной листик черненого серебра. «У тебя от всех столько секретов» – сказал тогда Борис, хочу, чтобы от меня у тебя был только один крошечный секрет, такой, чтобы в эту шкатулку умещался. Оригинально. Я оценила. И хотя, у Бориса своя большая личная книжная коллекция, я переписала для него несколько своих стихотворений, сделав к ним маленькие зарисовки тушью. Борис сразу увлекся идеей сочинить симфонию для хора и симфонического оркестра на эти стихи. Уже полгода, с того момента, мой композитор постоянно занят работой над своим произведением, мы даже не часто виделись. В начале марта он решил устроить вечеринку с апельсинами и грузинским вином, в честь того, что после окончании консерватории ему предложил обучение у себя в аспирантуре сам Шостакович. Должны быть новые лица. Предвкушаю. Новизна важна для меня. И правда, пришло много гостей, тех, кого я уже видела, и тех, кого я ещё не знала. Борис всем пришедшим представлял меня, как свою невесту. Почему? Думаю, чтобы никто на меня не заглядывался, хотя он сам знает – это невозможно. Я сочла неуместным в радостной суматохе опровергать его слова. Вежливо промолчала. Внешне я равнодушна. Стоило, однако, появиться в квартире рыжеволосому, эксцентричному молодому человеку похожему на большого, в человеческий рост, птенца Жар-Птицы, как изменилось всё. Любовь запылала с первого взгляда. Пламя, которое я скрываю в своем сердце влечет меня к мужчинам такого типажа, ярким, импульсивным, страстным. К тем мужчинам, которые могут раздуть мой огонь. С того дня мы не расстаемся, гуляем, взявшись за руки, заходим погреться в подъезды старых домов, долго и пылко целуемся, потом идем дальше по Петроградской Стороне, куда глаза глядят. Он, как и я, жгуче любит смотреть на огонь, любит подолгу гулять в парке, в лесу, у реки. Мы счастливы. Фантастически счастливы! Иосиф читает свои стихи:

«Я был попросту слеп,

Ты возникая, прячась,

даровала мне зрячесть.

Так оставляют след.

Так творятся миры.

Так сотворив их, часто оставляют вращаться, расточая дары.

Так, бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень,

в мирозданьи потерян кружится шар».

Жозеф порывист, пылок, благоговеет, перед тем, что есть во мне. Я и сама знаю, что это нечто, таинственное, присущее водной стихии, во мне есть. И есть и ещё то, о чём умолчу, хотя часами рассказываю Жозефу о живописи и музыке, и мы вместе рисуем, особенно часто, обожаемых им, кошек. Мы даже наделили друг друга кошачьими именами, Я обращаюсь к нему – Джозеф О`Кисс, а он называет меня – мисс Мэри Мур. При посторонних, разумеется, я зову его – Жозеф. Посторонним не зачем знать, что я в совершенстве владею французским, немецким и английским. Зачем им знать, что я легко делаю переводы, с упоением читаю по памяти и Пушкина, и Блейка, и эротическую поэзию Кузмина. Рекомендую Жозефу авторов, произведениями которых зачитывалась сама. Он не может отвести от меня глаз, следит за каждым моим жестом, как откидываю волосы, как смотрю в зеркало, как держу чашку, как рисую в очередном блокноте. Жозеф отчаянно мечтает об успехе, о признании:

«Твой Новый год по темно-синей

волне средь шума городского

плывет в тоске необъяснимой,

как будто жизнь начнется снова,

как будто будут свет и слава,

удачный день и вдоволь хлеба,

как будто жизнь качнется вправо,

качнувшись влево».

И я отвечаю о том, о чем стражду сама: «К вам всем – что мне, ни в чем не знавшей меры, Чужие и свои?! Я обращаюсь с требованьем веры. И с просьбой о любви».

В начале нашего романа Жозеф ещё иногда смел прикрикнуть на меня: «Говори громче!», но вот уж полностью покорен и готов весь обратиться в слух, что бы насладиться низкими переливами грудного голоса. Теперь, если не расслышит мои слова, то умиленно спрашивает: «Что это мы тут шелестим?». И меня так забавляет, как Джозеф О`Кисс горячится: «Во вселенной есть черные дыры. Дыры, понимаешь? И из них – источается зло». Он не догадывается, насколько, я понимаю. Злу исключительно удается источаться.

Я знаю, что на днях услышу от него: «Ты – радость Кранаха», так скажется результат нашего хождения по выставкам и музеям, куда я его водила. А он привел меня в дом Ахматовой. Я её сразу узнала. Анну. А она – нет. Анна пожелала, чтобы Марианна рисовала её портрет. Вот уже год, как я прихожу, когда Анна одна и больше никого нет и я рисую. Портреты карандашом поражают Анну. Что она в них видит? Не только себя? Она удивляется, моей сосредоточенности, и тем, что я рисую её молча. Она даже в своих заметках отметит – «Марина молча рисует меня». Но ведь Марина уже давно всё ей сказала в посвященных ей стихах и в письмах, «Ах, как я Вас люблю, и как Вам радуюсь, и как мне больно за Вас, и высОко от Вас». Нет, Марину она не узнаёт. Мне рассказали, что Ахматова дала такое определение возлюбленной Иосифа: «Тоненькая, умная и как несет свою красоту. И никакой косметики! Одна холодная вода». И то верно, я несколько раз в день умываюсь холодной водой. Помогает справиться с необъяснимым внутренним жаром, хотя на коже он никак не отражается. Моя кожа всегда белоснежного, безупречно-ровного цвета. Жозеф нарисовал мой портрет, особенно уделив коже внимание и губам. Зря он показал портрет Бобу. Тот сразу выпалил, что хочет целовать эти губы…

До портрета, Боб старался делать вид, что не замечает меня, а теперь ясно, что он мною просто одержим. Всюду увязывается с нами, преследует меня, как-то я обнаружила в кармане своего пальто записку от него – «Позвони!». И номер телефона. Сожалею, что подарила ему пару редких книг, он явно расценил этот дружеский жест неправильно, как ему вздумалось.

Дима – это ещё один поэт из ахматовской четверки, а я придумала звать его Бобом. Имя Боб ему больше подходит. Красивый, пишет недурные стихи и уже печатался в самиздатовском журнале у Гинзбурга. Так вот, Дима читал вслух Анне Андреевне, свою поэму «Новые диалоги Фауста» с посвящением мне «М. П. Басмановой посвящаются эти опыты» и с чего-то решил, что ему понятны мои привычки, туманные ответы. Думает, что я легко проницаема, как разгаданный им мой шифр? Но он даже не заметил, как я ему подбросила ключ – подсказку! Вот только он один заметил двойственность, которая есть и которую я умело и успешно скрываю. Догадался, что она гораздо глубже, чем скрываются недогрызанные подсознанием детские травмы, дающие о себе знать вспышками вражды с родителями. Нет, все-таки не вражды, а вспышками антагонизма, внезапно возникающего и так же внезапно исчезающего. Дима, кстати в курсе, что мой отец и родители Иосифа не одобряют наши с ним близкие сумбурные отношения. Отчасти, мой отец виноват в их напряженности. Он возмущается, что Иосиф числится дворником, словно забыл, что когда учился в техникуме, то сам работал дворником для заработка. Знаю, все дело в национальности Жозефа. Периодически мы расстаемся навсегда, снова сходимся. В моменты расставания он задумывается о самоубийстве. Давно доказано, что быть музой великого поэта-занятие не благодарное, а порой и опасное. Мало ли что взбредет в голову гению? То вызовет соперника на дуэль, то пустить себе пулю в лоб. Утомительные, постоянные разрывы мучают меня и веселят Марину. Но она уверила меня, что самоубийства Бродского не допустит, ведь ему ещё предстоит стать известным всему миру и получить Нобелевку. Марина заставила меня отказаться говорить по телефону с Жозефом, когда тот позвонил Ахматовой, зная, что я в этот момент у неё. Так, против воли, я и прошептала: «Я не хочу, Анна Андреевна». Не знаю наверняка, я ли не хотела?

Учиться живописи только у родителей мне было недостаточно, но непонятные поведенческие мои проявления случались всё чаще. Родители изо всех сил скрывали тревогу из-за заметных им странностей. Зато было ясно и досадно, поступать в Академию художеств они мне не позволят. Чревато непредсказуемыми последствиями для них и для меня, само собой. И тогда в 1958 году родители договорились с Владимиром Васильевичем, что бы я обучалась у него. Так я стала его первой ученицей. Занятия он строил на педагогической системе, созданной ещё Малевичем. Много теории, рассказы о импрессионизме, сезаннизме и супрематизме. Зимой, в начале 60-ого, через два года после начала обучения, меня первую посвятил в свою идею «чашно-купольного строения Вселенной», взяв геометрическую форму как модуль строения мира, живописного и космогонического. Особенное внимание польстило. А его доверие тронуло моё сердце.

«Дух дышит, где хочет»

Вот купола и тени их,

И тень от теней куполов.

В тени без тени Купола»

– декламировал он свои строфы. Со свойственной ему осмысленной одержимостью, захватил меня работой над новым пластическим сферическим, криволинейным пространством. В композиции, повторял он, главное «светимость цвета». Светимость цвета была манящей. Владимир Васильевич меня сильно привлекал и высоко меня ценил. Именно меня. Без сомнений, что я передала ему свою жажду разнообразия или просто жажду. Я была влюблена. И он тоже. «Образ богатой духовной жизни, в котором заключается не само движение, а возможность его, образ, полный скрытой динамики, духовной силы или лирической мечтательности. Этот образ особенно свойствененный русскому изобразительному искусству, пронизывает творчество Басмановой и является основой для поэтического восприятия её рисунков» – такой был его отзыв о выставке моих работ, которую он устроил на квартире, где жил с супругой тоже художницей.

Снова уже конец декабря. Жозеф уезжает в Москву. Какие-то люди, я их не знаю, с его согласия, устроили его на обследование в Кащенко, надеясь, что диагноз психического расстройства спасет от уголовного преследования за тунеядство. Не хочу, чтобы он уезжал, я уверена, что эти прятки ему ничем не помогут. К Новому году я приготовила Жозефу в подарок книгу, редкое, драгоценное издание – Райнер Мария Рильке. Карманный формат, твердая обложка, под ней надпись таинственными значками шифра «Моему любимому поэту». Перед тем, как Жозеф уедет, он обратится к другу, чтобы тот меня опекал. Меня это неуместное задание насмешит. Разозлит Марину. Поручение покажется ей оскорбительным. Сразу после Нового года, 2-ого января он вернется в Ленинград. Жозефу поставят диагноз – психопатия. Расстройство личности. Но расстройства личности у него нет. И приготовленной для него книги тоже нет. В сердцах, я вручу подарок не моему любимому поэту.

Безотчетное с детства знание плюс привычка матери, её убеждённость, что Новый год нельзя встречать одной, въелась в меня основательно. В другие дни я могу быть сама по себе сколько пожелаю, не тяготясь этим. Могу быть собой. Могу – Мариной. Марина ничего не боится. Стремительно надвигается 1964-й год. Марина решила встретить его с Димой. Незадолго до этого пришла я к Диме в гости безо всякого повода, зная, тот недавно расставшись с женой, живет один. Мы долго молча сидели в полной темноте… Потом, я сказала: «Если вместе, так ничего и не нужно».

Он, разумеется, согласится, что я приеду к нему на дачу, где он снимает комнату, встречать Новый год. У Боба в его половине дачи, ещё до Нового года мы уже побывали два или три раза. Это не было похоже на роман. Мы не выглядели влюбленными. Его соседка, ничего не заподозрив, постелила мне в своей комнате. На эту дачу приезжают разные люди, гостят и все они восхищаются Жозефом. Восторженно воспринимают меня, как его невесту. Мне надоело всем объяснять, что это не так. Дима в самый-самый неподходящий момент скажет: «ты же невеста Иосифа», ему я парирую: «я себя невестой Иосифа не считаю, а что он думает, это его дело». Я все ещё очень сержусь, что Жозеф уехал… Я не хочу быть ничей невестой. Я свободна и независима. Отвергаю эти стереотипы. А мужчины ведут себя, как собственники и из этого изо всех сил делают поэзию или музыку.

31 декабря обрушилось словно наледь с крыши. Я не стремилась ехать в компанию на зимнюю дачу, но Марина хотела. Я специально пропустила электричку, она села в следующий поезд, и он умчался в Зеленогорск. Снег сыпал необычайный, как будто наверху стригли огромными ножницами махрово-белую бесконечною ткань, кусочки этой мягкой ткани разного размера и формы падали на уже ровные застеленные поля. На станции у платформы мне весело улыбнулся мильтон и спросил не может ли чем помочь? А потом с большой охотой, с шутками-прибаутками довез меня в коляске своего мотоцикла в Комарово к даче. Я не курю, даже не пробовала никогда, но всегда ношу с собой зажигалку. Огонь всегда должен быть под рукой. Секунда и восковая свеча уже горит. Свеча, привезенная дядей, из посольства – бесподобна. Компания уже проводила Старый год и встретила Новый и уже празднично опьянела. Шум. Смех. Теснота. Я вбегаю на второй этаж. Какая-то полоумная радость охватывает этих людей. Они тянутся ко мне, предлагают рюмки, какой-то кудрявый юноша пытается поцеловать мой локоть. Огонек зажжённой свечи, которую я несу в руке, хаотично нервно подергивается. Пробираюсь в другую комнату, где меньше гостей. Случайно язычок свечи коснулся короткой ситцевой занавески. Она сразу вспыхнула. Раздался визг. Кто-то крикнул – «Пожар!». И те, кто то были ближе к пламени стали преувеличенно энергично его гасить. Боб плеснул на ткань холодный морс из своей кружки. Опасности не было. Я невозмутимо улыбалась. Все услышали, как Марина спокойно сказала – «Хорошо горит. Красиво» Возможно, она специально коснулась свечой занавески? Это эпизод станет почти историческим и будет носить название – «Поджог занавески» 13 января Жозефа арестуют, в камере у него случится сердечный приступ. Ахматова, и Маршак и Шостакович, и Жан Поль Сартр, заступятся за Жозефа, но все же, в марте его оправят в ссылку в глухую архангельскую деревню. При свете керосиновой лампы, электричество в тех местах появится только с 70-е годы, он напишет около 80 стихотворений из них цикл «Песни счастливой зимы» насквозь пронизанный воспоминаниями о счастливом периоде любви, о нашей прошлой зиме:

– Песни счастливой зимы

на память себе возьми,

чтобы вспоминать на ходу

звуков их глухоту:

местность, куда, как мышь

быстрый свой бег стремишь,

как бы там ни звалась

в рифмах их улеглась.

В наступившем 1964 году, Борис закончит свою симфонию «Марина», которая долгое время будет оставаться не исполненной и неизданной. Симфония решает важнейший вопрос не только личного творчества композитора, но всего музыкального искусства ХХ века: вопрос о мере подчинения авторской фантазии музыкальной форме. Фантазия Бориса в симфонии «Марина» безудержна, музыкальный язык в высшей степени современен. С момента случайно-неслучайного поджога занавески, я чувствую, ощущаю себя совсем странно-пунктирной линией, постепенно переходящей в прямую. Вибрирующей, существующей одновременно в разных реальностях. О чем-то таком говорил Стерлигов: «прямая, которая делит мир на две части... Состояние этой условной прямой переходит в состояние кривой. Если представить себе, что прямая вибрирует и если так же допустить себе условную точку, то концы по обе стороны точки стремятся показать себя чашей, отражаясь друг в друге в обратном отражении. Зеркальность, Анти мир».

Петля.

После самоубийства я попала в капкан. Не случилось освобождения от страшных, невыносимых земных мучений. Там, в мире постоянных мер было тяжело с моей безмерностью. Здесь, (а где здесь?), мучения ещё трагичнее и запредельнее. Нематериальное ничто. Ничто, в котором я оказалась плело нескончаемую паутину из душ самоубийц. Эти души, в отличие от моей, мгновенно теряли память о всех своих воплощениях. А я, став сегментом, вплетенным в петли паутины, помнила всё и сразу. Помнила свою последнюю жизнь до мельчайших подробностей при этом помню – жизнь меня не принимала и я жизнь не принимала. «Жизнь это место, где жить нельзя».

Ужасающий, пожирающий все время и силы быт. Безумную, невыносимую усталость. Вот таскаю воду из колодца, топлю печи, стираю, готовлю, шью, иду за хворостом в лес. Помню, как страшно болят ноги. Я не могу идти, не могу стоять.

Помню, что свои стихи я никому не позволяю критиковать. Всякую критику воспринимаю, как оскорбление, считаю, я одна обладаю абсолютным слухом.

Сын после моих похорон был потрясающе жестоко лаконичен: «Марина Ивановна поступила логично». Помню его бесконечные упреки, недовольство и отсутствие хоть капли сочувствия. Мое прощальное письмо ему уцелело, а другое письмо было изъято властями бесследно. Словно его не существовало.

«Мне больно понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в броне, у всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня на глубину, ни-че-го. Все спадает, как кожа, а под кожей – живое мясо или огонь».

Помню, что «встречала» Новый 1927 вдвоем с Райнером Рильке, умершим 29 декабря 1926, говорила не с умершим и похороненным, я с его душой в вечности. Чувствовала его бездну своей бездной. Я перескажу умершему, как внешне буднично она узнала о его кончине. «Теперь – как ехал?». «Как пишется на новом месте?»: ведь уверена, что для поэта на небе приготовлена особая обитель, недоступная людям прозаическим. Поэт – уже и есть неумирающее стихотворение. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься. В ту новогоднюю снежную ночь я писала ему письмо. Писала при зажженной свече. Свеча после полуночи дёрнулась всполохом пламени. Выпала из подсвечника, покатилась, подожгла скатерть. Казалось, фитиль свечи, с его жаром и способностью перекидываться на выбранные им самим предметы, существовал сам по себе, прожигал пространство и время. Мне поверить в небытие Рильке было невозможно. Я не могла. Это значило поверить в небытие собственной души…

Целый ряд значений и созвучий Новых. ‎– До свиданья! До знакомства!

Свидимся – не знаю, но – споёмся!

С мне-самой неведомой землёю – С целым морем, Райнер, с целой мною!

В самые тяжкие минуты, моим спасением были письма. Я писала их даже когда на земле уже не существовало человека, к которому они обращены: «В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили – как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил и, чтобы меня хорошо принять, заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж...».

Кто создан из камня, кто создан из глины,

–А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело – измена, мне имя – Марина,

Я – бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти –

Тем гроб и нагробные плиты…

– В купели морской крещена – и в полете

Своем – непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети

Пробьется мое своеволье.

Меня – видишь кудри беспутные эти?

–Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,

Я с каждой волной – воскресаю!

Да здравствует пена – веселая пена –

Высокая пена морская!

Я создана природой словно бы из иного вещества. Может и правда, из высокой морской пены? Всем своим организмом, всем своим человеческим естеством тянулась я прочь от земных измерений в миры иные, о существовании знала непреложно. «Верующая? Нет. Знающая из опыта». С ранних лет знала я и чувствовала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, поэты – пророки, и стихи сбываются, и ещё в ранних своих стихотворениях предрекала судьбу Мандельштама, Сергея Эфрона, да и свою собственную судьбу. Это тайновидение с годами усиливалось. Существовать в общепринятом мире становилось все труднее. Никто не мог меня понять.

«Бог меня одну поставил

Посреди большого света.

– Ты не женщина, а птица...

Посему - летай и пой».

Для песен и полёта необходим простор! Свободный, неограниченный. Но эта стихия отнята, недоступна. Ни петь, ни летать я уже не могла, не могу. Вероятно, страдание живого существа, лишенного родной стихи, людям понять не дано. Мучения пойманной птицы, загнанного зверя, эти страдания непостижимы для окружающих. Разумеется, страдание не было моим единственным чувством, феноменальной моей энергии хватало на многих и многое, но трагизм мироощущения все-таки шёл от не поддающихся рассудку мук. Мне было тяжело, душно в телесной оболочке. «Из тела вон хочу» – это не поэзия, это моё состояние. Мой страшный быт и высокомерное бытие, которые всю жизнь противостояли друг другу, 31 августа слились воедино.

Все мы рождаемся, чтобы умереть. У каждого своё время. Кто-то раньше, кто-то позже, кто-то даже в момент рождения. А можно ли родиться в момент смерти? Этот вопрос занимает меня. Умерший, распадаясь на молекулы, все – таки продолжает существовать в пространстве. Я же стражду целиком начать жить сначала, но и помнить, кто я, остаться Мариной. Крупинка моей сущности (или души?) вселилась с крошечную трехлетнюю девочку Марианну. Часть моей растерзанной души, подселившись к ней, уже влияют жестоко и непоправимо. Изменят её линию судьбы, изменят имя. Почему так случится? Почему именно к ней, к Марианне? Может оттого, что я знаю какой она вырастет красавицей? У меня нет ответа. Вынесет ли мое подселение?

Искрясь и переливаясь, любовь, из невещественного-неосязаемого непостижимо. Заполняет мир материи. И я помню, что вещи, принадлежащие мне, любимым людям, одухотворены и прекрасны. Полны очарования и трогательно беззащитны: чернильница, кофейник и любимая кофейная чашка, шкатулка, моё хлопковое платье сизого цвета, со сборчатой юбкой, его я носила там в жизни с момента покупки в 22 году, носила и в своё последнее земное лето.

Я помню простой серый дощатый дом под железной крышей в Тарусе. На протяжении восемнадцати лет отец снимал для нас дачу. Лесенка с нижнего балкона сходит прямо в сирень. Столбы качелей, старая скамья под огромной ивой еле видна – так густо кругом. В высоком плетне – калитка на дорогу. Если встать лицом к Оке, влево грядки, за ними малина, смородина, и крыжовник. Помню, что обожаю и одолеваю дальние прогулки в Пачёвскую долину с волшебными дубами и высохшим руслом речки. Русло высохло. И – ничего. Обычное дело. Ничего. Но есть и великое Ничего. Всё или Ничего. Всего нельзя в жизни. Значит – ничего. В мире тел, страстей, желаний – все разорвано на части и надо выбирать. И вот в одном случае я выбрала – ничего – с Родзевичем, в другом – судьба выбрала. Смерть выбрала.

«Здесь» времени нет, оно не существует, в этом антимире события хаотично перемещаются. То чего ещё не случилось, появляется ранее, того, что уже произошло. Ещё не случилось моего подселения к Марианне, я уже знаю, что после рождения своего сына Марианна спонтанно купит, понравившийся мне необычайно, буфет из черного резного дуба, а эксцентричный Иосиф, зайдет проведать своего ребенка и немедленно выразит сильнейший восторг по поводу «нашей» покупки:

Стол пустовал. Поблескивал паркет.

Темнела печка. В раме запыленной

застыл пейзаж. И лишь один буфет

казался мне тогда одушевленным.

Но мотылек по комнате кружил,

и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.

И если призрак здесь когда-то жил,

то он покинул этот дом. Покинул.

Марианна не свяжет свою жизнь с Бродским и не уедет с ним, когда его в 1972 году вышлют из страны. Будет растить их ребенка одна. Даже фамилию даст мальчику свою и отчество не Иосифович, а Осипович. Бродский болезненно к этому отнесется, скажет саркастически-обреченно: «Она, что его от Мандельштама родила? Почему Осипович?». И дело не только в том, что красавица Марианна, жертва цветаевского подселения, дала себе слово не оставлять родителей. Марианна правильно понимала, Иосиф любит не её, он полюбил, не догадываясь об этом сам, меня. Пунктирность жестоких разрывов и череда примирений с Бродским, чужое отчество и не отцовская фамилия сына, интрижка с Дмитрием – это месть несчастной, казалось бы, любимой, но на самом деле отвергнутой Иосифом женщины. Сердцем, художница знала, она для Иосифа – земная муза. Она, я – Марина – неземная любовь.

Ещё помню, что уж была Мариной, только иной, Мариной Мнишек. И тогда я выбрала не смерть, а свободу. Выпорхнула птицей из заточения из Маринкиной крепости. Улетела!

С какого-то часа цветаевской Марины говорила я каждому: «мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня – это любовь. А то, что вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, – мне этого не нужно. Помню, что в дружбе, даже при её заочности мне были необходимы понимание и взаимность. Я всегда загоралась, увлекалась перепиской, мыслями о возможной встрече! «О, я давно у себя на подозрении, и если меня что-нибудь утешает, то это – сила всего этого во мне. Точно меня заселили.», «Дорогой Борис, я теперь поняла: поэту нужна красавица, т. е. без конца воспеваемое и никогда не сказуемое, ибо – пустота et se prête à toutes les formes. [готова принять любую форму] Такой же абсолют – в мире зрительном, как поэт – в мире незримом».

Помню боль соблазна. Его утоление. О, как хочу я почувствовать отсутствие боли! Петля перенесла меня в ещё большую затуманенность. Я вне времени, ведь за пределами жизненного моего пространства оно перестало существовать. Здесь все застывшее. Без запахов и прикосновений.

Застынет все, что пело и боролось,

Сияло и рвалось.

И зелень глаз моих, и нежный голос,

И золото волос.

И будет жизнь с ее насущным хлебом,

С забывчивостью дня.

И будет все – как будто бы под небом

И не было меня!

Мои стихи всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. Застынет всё… Застыло всё кроме непроходящей боли. «Мой отрыв от жизни становится непоправимей» всплыло в моей голове. Одновременно я слышу, что когда-то говорила сама, слышу что записывала, даже то, что не успела ещё написать. «Героизм тела - жить, героизм души – умереть», «Меня хватит на 150 миллионов жизней», «Все должно сгореть на моём огне я жизнь маню я и смерть маню…», «Так мало ем – все с уксусом – и так мало худею! Хоть заболеть, что ли, – тогда, может быть, похудела бы… год назад сколько ставила ноги в таз со снегом – и ничего!», «Смерть страшна только телу, душа её не мыслит, поэтому в самоубийстве, тело – единственный герой», «Важно, чтобы рядом был кто-то старше вас – или тот с кем вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей уже некому сказать «А помнишь?». Это все равно, что утратить свое прошлое, – ещё страшнее чем умереть», «Как красиво падает лист! Вот он оторвался, в нерешительности кружится, потом опускается ниже, ниже и наконец плавным движением приникает к земле, где лежат его братья – все тем же путем окончившие короткую жизнь. Падение листьев - символ жизни человеческой. Все мы рано или поздно после недолгого кружения по воздуху своих мыслей, грез, заветных дум возвращаемся к земле. Все радости и все печали осени – в ее неминуемости».

После моего сборника Психея, все хотели видеть Марину золотоволосой, воздушной, прозрачной. А я поражала окружающих своей неженственностью: у меня были большие, выразительные, мужские руки, движения резкие и порывистые, голос жесткий и отчетливый. Всё во мне было резко и неуютно. Раздражал всех и мой взгляд очень близорукого человека – невидящий. Людям не нравится такая манера смотреть – не в глаза, а в лоб, мимо встречного взгляда. Несмотря на большую близорукость, очков не носила, я предпочитала мир затуманенный и облагороженный невидением, миру действительному.

Но вся моя жизнь в мире действительном – переходом из ада в худший ад, из нищеты эмиграции в Париже на скандальную кухню на Покровском бульваре в Москве. Шум. Слышу шум, это в коммунальной квартире орут на меня, я забыла унести с кухни брюки сына. По любому поводу орут. Я слышу, обо мне говорят разные и разное. Говорят мои знакомые и незнакомые люди: «Марина – страстная курильщица и кофеманка», «женщина с железными нервами», «У нее такой растерянный взгляд», «Цветаева мгновенно разочаровывается в людях», «Она хамоватая и влюбчивая». Вечно ли теперь терпеть перемывание и смакование сомнительной информации, с ссылками на мои дневники, которых комментаторы в глаза не видели, не читали, или читали поверхностно, а понять не потрудились. Хотя, понять меня трудно. Или невозможно. Способность не просто играть по жизни роль сильной женщины, а быть ею, постепенно сбываясь – меня и саму порой сильно сбивало с толку. Но поздно узнала и стала говорить каждому: «мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это – любовь. А то, что Вы называете любовью (жертвы, верность, ревность), берегите для других, для другой, – мне этого не нужно...».

На протяжении многих лет, переписка с Борисом заменяла мне необходимое мне понимание. Десятки наших стихотворений и поэм появились во многом благодаря нашему причудливому эпистолярному роману. Собранные вместе, письма напоминают музыкальное произведение, мелодии и тональности которого меняются в зависимости от переживаний его исполнителей. Я влюблена в Пастернака, я ощущаю, он единственный, кто соответствует градусу моих чувств и страстей... «Мне нужен Пастернак – Борис – на несколько вечерних вечеров – и на всю вечность. Если меня это минует – то жизнь и призвание – всё впустую». Отрезвлённо осознаю: «Наверное, минует. Жить бы я с ним всё равно не сумела, потому что слишком люблю».

В детстве, Борис мечтал стать композитором, сочинял, импровизировал на фортепьяно, а станет писателем и поэтом. Комическая ирония проявится в том, что в конце 59 года его заставят оказаться от Нобелевской премии, к которой он стремился всю жизнь. Своему сыну он скажет: «Признание, которое вовсе не признание, а неизвестность. Нет воспоминаний. Все по-разному испорченные отношения с людьми. Кругом в дерьме. И не только у нас, но повсюду, во всем мире. Вся жизнь была только единоборством с царствующей пошлостью за свободный, играющий человеческий талант. На это ушла вся жизнь». Это ещё только случится.

Помню, я познакомилась с Пастернаком в послереволюционной Москве, но по настоящему мы сблизились в 22 году, когда я уже была в эмиграции: «Борис, сделаем чудо. Когда я думаю о своём смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И только – твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу только того, кто только для меня одной знает слова, из-за меня, через меня их узнал, нашёл. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь. Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это – доля. Ты же – воля моя, та, пушкинская, взамен счастья. О своих не говорю, другая любовь с болью и заботой, часто заглушённая и искажённая бытом, я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значащейся в паспортах, о чуде чужого. О там, ставшем здесь...».

Я спрашивала у Бориса, что он думает, ехать мне на родину или не ехать? У него на этот счёт не было определенного мнения. Он не знал, что посоветовать. Я была тогда на перепутье. Борис, – в обстановке массовых репрессий, последовавших за убийством Кирова, мог бы посоветовать что-то более ясное и определённое, но страх помешал ему отсоветовать мне возвращаться. Борис в Париже даже сказал «ты полюбишь колхозы». Он не сказал мне правду о том, что происходит в России, о миллионах репрессированных, об удушающей атмосфере, о невозможности для меня печататься. Советы обязательно узнали бы, что Борис предостерег меня возвращаться и тогда, перестали бы и его издавать и печатать.

День, когда Борис ничего не нашёл сказать мне ничего «ясного и определённого», предопределил все остальное. Образ веревочной петли преследовал меня всю жизнь. Первый раз я пыталась повеситься семнадцатилетней. Своей подруге Софье нередко говорила «Я умру молодой... – и показывала жестом, что надеваю на шею петлю...». Потом в Париже сначала случится самоповешение младшего брата мужа, затем, на том же крюке повесится его мать. Осенью 1940 в своем дневнике оставлю запись: «Никто не видит – не знает, – что я год уже ищу глазами крюк». Большевизм, фашизм, нищета, неприкаянность, невозможность быть своей там и тут, и повсюду, и везде «маленькие низости и лицемерия».

Был момент в начале войны в начале июля: я решила, что Борис пустит меня пожить к себе на дачу в Переделкино, даст там передохнуть от бездомности и нищеты. Но Борису это было почему-то не с руки. И я уехала с сыном в эвакуацию в Елабугу. На гибель. Борис пришел ко мне помочь укладывать вещи, он принес веревку, чтобы перевязать чемодан, выхваливая крепость веревки. В какую-то секунду Борис перестал быть Борисом, лицо его исказилось, большие синие глаза превратились в черные дырки, рот стал щелью и из узкой этой щели выползли слова «Хороша веревка, она всё выдержит, хоть вешайся на ней». Всю свою оставшуюся жизнь Борис не простит себе эти роковые слова. Я позабочусь из небытия, чтобы ему передали, что я повесилась именно на этой веревке. Хотя мне уже безразлично, почему он запомнит свою роковую шутку. Кто или что заставило его.

В поддержке, вельможные советские писатели Асеев и Фадеев, эвакуированные в Чистополь, что близко с Елабугой, мне отказали. Я была в смятении, знание французского языка в Елабуге было никому не нужно. Мои мытарства сын описал в дневнике: «…мать была в горсовете, и работы для неё не предвидится; единственная пока возможность – быть переводчицей с немецкого в НКВД, но мать этого места не хочет». Ещё Мур зафиксировал в дневнике, что в последние дни я была сама не своя, просила освободить меня. Хозяйка у которой мы снимали комнату, слышала, как мы ссоримся, но причин не поняла: мы разговаривали на французском. За мной тянется шлейф белоэмигрантки и белогвардейки, жены и матери врагов народа. Я невероятно боюсь навредить Муру – худому и слабому, хотя ему шестнадцать. Возможно, если меня не будет в биографии сына, то ему будет лучше, ведь «дети за родителей не отвечают» Но я же знала и знаю, перед теми, кто отказался от совести, ещё как «отвечают». Мур окончив в 44 году первый курс Литературного будет призван на службу, но как сын репрессированного в штраф-батальон. От ранений полученных в тяжелом бою умрет и тело его будет лежать в одной из многочисленных неизвестных братских могил.

По приезде в Елабугу, меня сразу вызвал себе местный уполномоченный НКВД и предложил «помогать». Гадкая встреча с провинциальным жлобом вербовщиком, предложившим доносительство. Я отказалась. Оцепенела от отчаяния... Осознала предельно ясно, что единственный выход: гвоздь в сенях и обрывок веревки. Написала предсмертные записки. Оставила их в комнатке на столе.

Настал последний день августа. С утра я надела большой старый фартук с большим карманом, положила в карман письмо для сына. Два других прощальных письма оставила на столе в нашей с сыном комнатке. Мур отправился на субботник, по расчистке места под аэродром, я не пошла, но не смотря на остро-ноющую боль в ногах хлопотала по хозяйству. Мои глаза, всегда видевшие, окружающий мир сквозь пелену, совсем залепило туманной массой. Меня обволокло липким, желеобразным месивом. И я скорее догадалась, чем заметила, что из проема прохода в сени медленно вытягиваются серые длинные голые руки. Они протягивали мне веревку, ту, которую принес Борис. Мерзко проскрипело «вешайся, вешайся…». Лето закончилось. Закончилась моя жизнь.

В этот момент из светлого яркого пятна в проходе двери появился солнечный луч. Луч нес в себе силуэт необычной хрупкой девушки в очень уж короткой юбке, каких не носят нынче. Предосенний рябиновый запах с горчинкой сменили ароматы жасмина и сирени. Девчушка всё повторяла и повторяла «Выход там, где вход, выход, там, где вход» и пыталась отобрать у меня веревку. Нет, это не в её силах. Не смогла, исчезла в портале. Воздух переполнялся озоном, майской свежестью, колокольным перезвоном. В сенях на гвозде с левой стороны висело моё бездыханное тело. Но появление Кармины в момент перехода от жизни к смерти изменит что-то в запредельности. Не отнимется у меня моя память. Останется.

«Нету разлук. Существует громадная встреча. Море, омывая планету, соединяет всех людей и ушедших на время и ушедших от нас навсегда. По своей ли воле или не по своей». – так будет думать, когда родиться Бродский. А он, я знаю, родился. 24 мая 1941 года. Иосиф всю жизнь, и после жизни, будет любить меня. Своей любовью он освободит меня из туго затянутой петли. Про мою поэму «Новогоднее», а эта поэма нечто среднее между любовной лирикой и реквием, Жозеф скажет «тет-а-тет с вечностью».

Конец.  
 2022г.

В пьесе-монологе присутствуют стихотворения, цитаты из рассказа и дневников Марины Цветаевой, цитаты Льва Толстого, цитата из дневника Анны Ахматовой, цитата Владимира Стерлигова, стихотворения и цитата Иосифа Бродского.